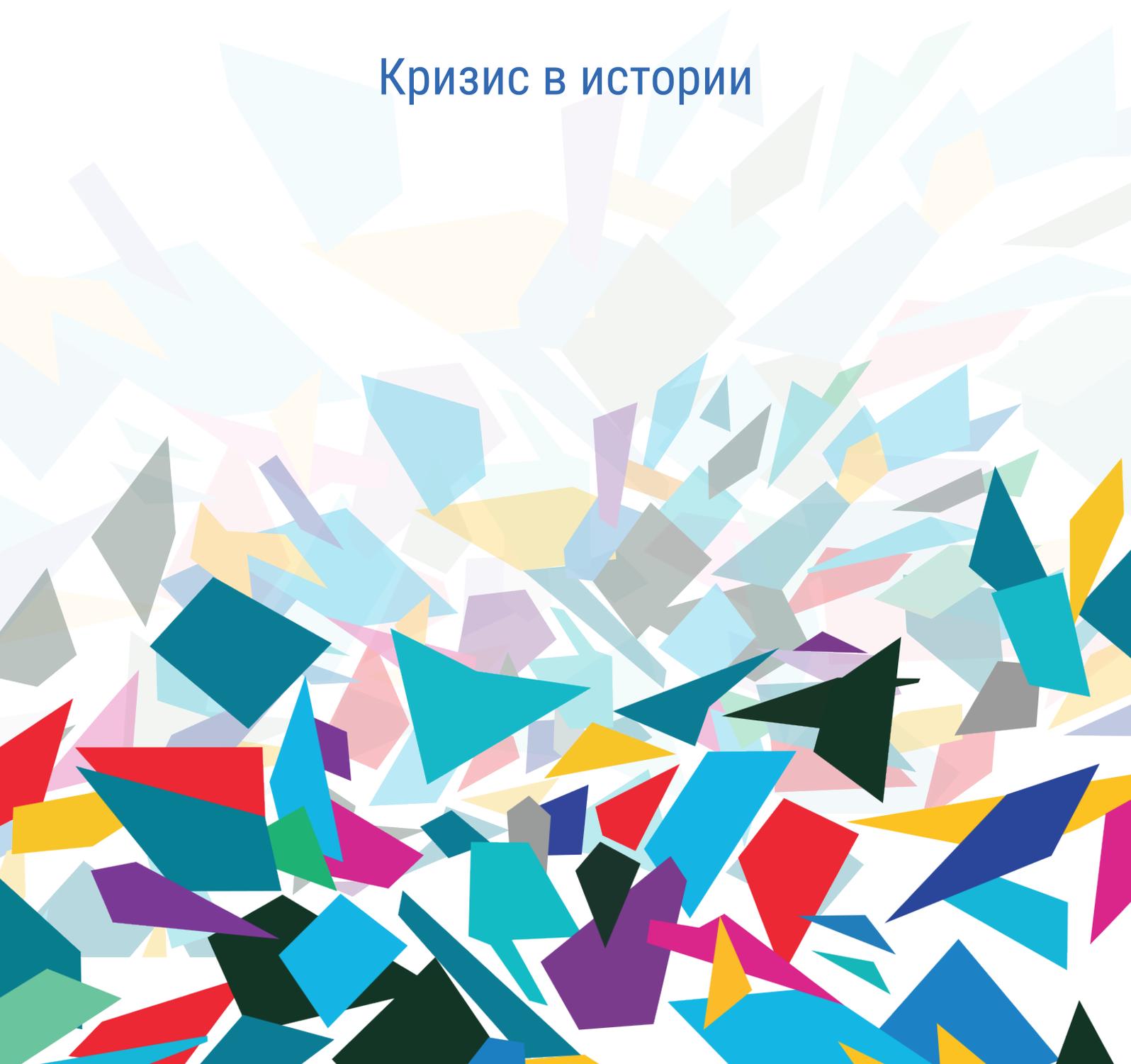


ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Кризис в истории

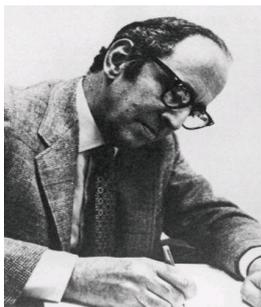




К 1900 году история являлась еще молодой дисциплиной. Это молодость обусловила убежденность в возможности открытия истинной картины прошлого, убежденность, коей дышала вся позитивистская научная традиция. Безусловно, были слышны и голоса критиков, но они касались способов познания. И не ставили под вопрос научный статус истории.

20 лет спустя ситуация была совершенно иной. История оказалась в кризисе, проявившимся в смене научных парадигм, принципов и методов познания. Поменялся и статус науки. Мало, что напоминало о самоуверенности прошлого; возможность восстановления единственно-верного образа прошлого оказалась иллюзией, и теперь вместо одной научной правды, ученые говорили о мириадах субъективных перспектив, каждая из которых могла претендовать на научную ценность, но не на эксклюзивность.

Что же произошло? Об этом и будет наш рассказ.



Философ науки Томас Кун, однажды уже упомянутый нами, предложил в 60-х теории «научных революций», или «сдвигов парадигм». В его представлении, парадигмы – совокупность задаваемых вопросов, аксиоматических предпосылок, методов и целей исследования – развиваются и усложняются по мере накопления эмпирического материала. Вместе с тем растет и количество явлений, не объясняемых в рамках теории. Какое-то время парадигмы и конституирующие их теории существуют, обрастая исключениями, но наступает момент, когда общее бремя исключений становится неподъемным, и парадигмы начинают рушиться.

Что-то похожее и с историей. Расширялась эмпирическая база, приведшая на рубеже XIX–XX веков к утверждению принципиального различия между историческим и естественнонаучным познанием. Появились ученые, ощущающие ограниченность современных им научных идеалов.

Атака на позитивизм была обречена до тех пор, пока существовало то общество и те убеждения, что его породили. Поэтому окончательную смену парадигм, приведшую к опровержению принципов классического позитивизма, невозможно понять без катастрофического воздействия войны на европейское общество и его мировоззрение.

Новая тотальная механическая война развеяла оптимистическую уверенность в безостановочном поступательном развитии западной цивилизации; подорвала она и ощущение нравственного превосходства человека европейской культуры. Потерпел крушение и образ истории, «наставницы жизни», что питала иллюзии, оказавшиеся смертоносными.

Война поспособствовала популяризации начавшейся еще до 1914 года революции в физике, проецируя ее заключения на общественную жизнь. Теория относительности и квантовая механика указывали на отсутствие определенности во вселенной. Выводы физиков как ничто иное подходили под послевоенные настроения. Не могли они не коснуться и историографической практики.

Послевоенный кризис, поставивший под сомнение саму значимость истории как науки, проходил под знаком релятивизма и презентизма. Философы истории, вслед за физиками, указывали на взаимозависимость наблюдаемого явления от наблюдателя. Об объективно отраженном в создании исследователя исторического события говорить не приходилось, тем более что в отличие от естественных наук, создающих свои теории в лабораторных условиях, историки лишены возможности воссоздавать условия, в которых произошли интересующие их факты. Событие, свершившись, окончательно растворялось в прошлом, оно терялось для исследователя. Последнему ничего не остается, как создавать собственные критерии истины, полагаясь на здравый смысл и на мнения авторитетов.



Скептицизм относительно возможности достижения объективного исторического знания привел к возрождению идеализма. Сильнее всего это отразилось в работах итальянского мыслителя Бенедетто Кроче. Начав с позитивизма, он постепенно перешел к интерпретации истории, близкой к гегельянской философии «абсолютного духа». Весь исторический процесс Кроче воспринимал как познание человечеством самого себя. Знание о прошлом есть центральный компонент в настоящем общественном сознании. Другими словами, всякая подлинная история всегда современна. Обращением в прошлое индивид учится быть историчным здесь и сейчас, постигает себя, творящую в истории личность.



Презентизм Кроче являлся попыткой реабилитировать лишенную позитивистской уверенности историю, вернув ей идеалистический пафос. В США 20х-30х годах историческая дисциплина находилась под сильным влиянием релятивистских убеждений. Карл Лотус Беккер призывал к отказу от привычки думать об истории как о части внешнего мира и об исторических фактах как о действительных событиях. Его коллега Чальз Остин Бирд, президент Американской Исторической Ассоциации, назвал историю «актом веры». История – лишь мысль, современная мысль о прошлом, но не действительность. Релятивизм можно воспринимать как крайнюю степень отторжения позитивизма.

Умеренный релятивизм нашел поддержку в среде российских историков, испытавших на себе двойную катастрофу войны и революции. Роберт Виппер, крупный историк античности, считал, что современный кризис, сигнализируя ломку привычного порядка вещей, требует переосмысления самого предмета истории. Вместо социальной и культурной истории на первый план им выдвигаются история политическая и история международных отношений. Виппер утверждал, что идеалистический подход отвечает запросам рождающегося общества в большей степени, нежели материализм позитивистской эпохи.



Другой российский мыслитель, историк Средневековья, Лев Карсавин пытался преодолеть дихотомию между обобщающим подходом естественных и социальных наук и индивидуализирующим знанием истории. Следуя Карсавину, индивидуальность отражает целостность мировых процессов. Именно в человечестве в целом Карсавин видел главный предмет истории. Не оцененная современниками, эта мысль была блестяще реализована во французской «школе анналов» и «новой социальной истории».



В представлении британского историка Робина Джорджа Коллингвуда, предмет исторического знания определяется как «свершившиеся или совершенные вещи», деяния людей в прошлом. Коллингвуд стремился вывести историю из тупика крайнего релятивизма. Историк утверждал, что познание прошлого не зависит ни от авторитета, ни от памяти. Исторические конструкции, за исключением сугубо литературных, далеки от произвольных. По его убеждению, они должны вытекать из доступных фактов и свидетельств с силой необходимости.

Ученый-историк, по определению Коллингвуда, исследуя любое событие, должен проводить грань между его внешней и внутренней сторонами. Под «внешними» Коллингвуд имел ввиду видимую, материальную сторону события. Внутренняя сторона касалась мотивов и мыслей действующих лиц. В отличие от внешней, эта сторона могла быть описана только при помощи интеллектуальных категорий. Именно работу с внутренней стороной события Коллингвуд считал для истории центральной. «Главная его задача – мысленное проникновение в ... действие».

Коллингвуд видел ценность истории в функции, что она выполняет, позволяя человеку понимать себя. История предоставляет человеку материал, благодаря которому он понимает до свершения какого-либо действия, что он в состоянии сделать и что он собой представляет.

Самопознание через историю подразумевает существование научной истории. Долгое время практиковавшаяся версия истории была, следуя фразеологии Коллингвуда, «историей ножниц и клея». Она сводилась к отбору и комбинированию свидетельств. С XIX века возникает критичная история, в рамках которой историк анализирует источники, исходя из вопросов, отражение которых он пытается в них найти. Если «историк ножниц и клея» читает источники, исходя из допущения, что в них нет ничего, о чем бы они прямо не говорили читателю, то «научный историк» добывает из них сведения, которые на первый взгляд говорят о чем-то совершенно ином, а в действительности отвечают на поставленные им



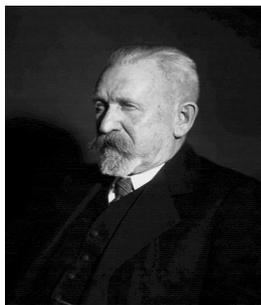
вопросы.

Одним из первых Коллингвуд поднял проблему «истории истории». «Бесконечное прошлое никогда не может быть схвачено целиком». Это происходит не только из-за изменений в базе источников, методах и теоретическом инструментарии. Поколения переписывают историю по-своему, потому как задаются иными, новыми вопросами. Окончательной интерпретации прошлого не может быть, поскольку оно живет в настоящем. Исследователь не должен поддаваться скептицизму, но, понимая свое определенное место в историческом процессе, может и должен смотреть на него с той точки зрения, которой он придерживается в настоящий момент.

Бенедетто Кроче, Коллингвуд и прочие ученые межвоенного периода стремились найти новую теоретическую основу для дисциплины, охваченной приступом самосомнения. Они не пытались выйти вновь на позиции позитивизма. Их цель заключалась в том, чтобы вобрать всю плодотворную критику в скептицизме, сделать основание дисциплины прочнее.

Превращение истории в идеологическую догму было явлением, противоположным крайнему релятивизму по своему характеру. Оно так же являлось следствием кризиса науки, наступившего вслед за кризисом общества и общественного сознания.

Связь политики и истории никогда не отрицалась – ни в античном мире, ни в Средние века, ни в Новое время. Однако то, что произошло с историей в ряде стран в XX веке было беспрецедентным как по масштабу внедрения идеологических установок, так и по последствиям для исторической науки.



Государством, где истории с каждым годом все больше нужно было исполнять роль служанки идеологии, был Советский Союз. Тенденция на идеологизацию дисциплины наметилась с момента возникновения советского строя. Так, в Ленинграде в 1919 году была создана Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК), а в Москве в 1921 году учрежден подчиненный Народному комиссариату просвещения Институт истории. В 1926 году при Коммунистической академии, возглавляемой историком Михаилом Покровским, появилось Общество историков-марксистов с собственным печатным органом «Историк-марксист».

Справедливости ради следует заметить, что до конца 20-х годов сохранялась некоторая степень плюрализма в исторических дискуссиях времени. Отчасти это было связано с принятой большевиками программой по преодолению колониального прошлого Российской империи.

По мере усиления сталинской диктатуры укреплялся и государственный контроль над историками и историческими институтами. Совнарком все больше решал, что писать, как писать и о чем писать. Выпуск «Краткого курса истории ВКП(б)» в 1938 году символизировал полное подчинение науки требованиям партийно-идеологической системы.

СССР был не единственным государством, поставившим ресурсы истории на службу идеологии. В то же самое время немецкая историографическая традиция, бывшая на протяжении многих десятилетий моделью подражания для остальных европейских школ, превратилась в инструмент обоснования расистского мировоззрения нацистов и их претензий на региональное, а затем и мировое господство. Историки (во всяком случае те, что остались в Германии Гитлера) вместе с маститыми пропагандистами учили немцев мыслить «расово» историческими монографиями, посвященными борьбе «рас», «судьбе арийской расы», роли «расы» в культурной и политической деятельности человека. Делали они это без ожидаемого энтузиазма, что и привело в 1943 году в связи с переходом Германии к «тотальной войне» к закрытию большинства исторических журналов и научных учреждений.

Окончание Второй мировой войны не означало дискредитации идеологически-мотивированных «исторических нарративов». За Второй мировой войной последовала холодная война. И бои между историками стали жарче, чем прежде. Советские историки так и воспринимали себя в качестве «бойцов идеологического фронта». От похожих позиций отталкивались историки по другую сторону железного занавеса. Конфронтация двух систем была конфронтацией их мировоззрений и историографий. На востоке ученые разоблачали «звериный оскал мирового жандарма и его идеологических прихвостней», как и их американские коллеги на западе – «человеконенавистническую практику советского коммунизма».

Подобная ангажированность негативно сказалась на судьбах исторической дисциплины. В СССР история настолько тесно переплелась с государственной идеологией, что современному нам общественному сознанию трудно представить их порознь. Не это ли объясняет, почему до сих пор исторические



исследования, проводимые даже профессиональными историками, отдают мифотворчеством, вторя весьма грубым нарративным схемам, спущенным сверху?

На Западе использование истории в качестве инструмента борьбы с красной угрозой создало атмосферу, в которой динамично развивающиеся социальные науки, не втянутые в идеологическую конфронтацию в равной с историей мере, начали активно вытеснять ее из традиционной ниши. Многие пытались «научно» обосновать ее кончину как дисциплины. То, что история отличается от литературы и журналистики наличием исследовательских методологий и методик, ориентированных на получение достоверных знаний о прошлом, подвергалось сомнению. Казалось, истории оставались только два удела: либо быть собранием антикварных раритетов, далеких от жизни, либо быть орудием политики.

История столкнулась с одним из серьезнейших вызовов. Чтобы выжить и доказать свою научную состоятельность, ей необходимо было меняться. О том, как историки реагировали на вызов социальных наук, мы поговорим в 22 лекции.

В следующей же лекции разговор пойдет о возникших в межвоенное время новых подходах к истории, заложивших основу для ее дальнейшего развития в последней трети XX века.